

Tatiana Loshakova

Миф и реальность в северной прозе Мариуша Вилька

Acta Polono-Ruthenica 17, 103-113

2012

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

Tatiana Loshakova
Sewerodwinsk (Rosja)

Миф и реальность в северной прозе Мариуша Вилька

В 1915 г. Н. Бердяев в своей работе *Судьба России* писал: „Для западного культурного человечества Россия все еще остается совершенно трансцендентной, каким-то чуждым Востоком, то притягивающим своей тайной, то отталкивающим своим варварством. Даже Толстой и Достоевский привлекают западного культурного человека, как экзотическая пища, непривычно для него острая”¹. Эти слова указывают на то, что к началу XX века на Западе сложился устойчивый комплекс стереотипов (миф) о России. Такого рода стереотипы – зачастую контрастные, основанные на полярных оценках – существуют в сознании европейца до настоящего времени.

В. С. Елистратов выделяет несколько структурных типов западного мифа о России: литературный, бытовой, политический. Примечательно, что зарождению последних двух во многом способствовала путевая литература, создатели которой, как правило, предпочитали занимать позицию стороннего наблюдателя, туриста. Поэтому бытовая культура оставалась для них неясной. Попытки же объяснить какие-либо явления этой культуры, используя „цивилизованные” представления, еще более ее искажали². Что же касается политического мифа, то в основе его – представления о России как о стране деспотизма, а о русском народе как таком, который принимает и даже любит несвободу, рабство. В качестве примера можно сослаться на знаменитую книгу французского журналиста и публициста А. де Кюстина *Россия в 1839 году* (1843), которая многими в России воспринимается как символ „антирусскости”. В частности, Кюстин писал: „Обо всех русских, какое бы положение они не занимали, можно сказать, что они упиваются своим рабством”³. Ему же принадлежит

¹ Н. Бердяев, *Судьба России. Опыт по психологии войны и национальности*, Москва 1990, с. 2.

² В.С. Елистратов, *Россия как миф (к вопросу о структурно-мифологических типах восприятия России Западом)*, [в:] *Россия и Запад: диалог культур*, вып. 1, Москва 1992, с. 81.

³ А. де Кюстин, *Россия в 1839 году*, в 2 т., т. 1, пер. с фр. В. Мильчиной, И. Стаф, Москва 1996, с. 126.

и знаменитое высказывание „вся Россия – тюрьма”, позже перефразированное Лениным и превращенное им в идеологическое клише „Россия – тюрьма народов”.

Современный польский писатель М. Вильк, создатель популярной ныне „северной” прозы о России, в отличие от своих предшественников и современников, решил Россию „пережить”. Поселиться в России и через многолетний личный опыт, через „опыт странствий” освоить „русский мир” и „формы русского бытия”, которые неподвластны „категориям европейской логики”⁴. Он не пожелал ограничиваться, подобно многим своим соотечественникам, „коллекцией туристических впечатлений” и исключил из поля своего интереса жизнь крупных городов – будь то Москва или Петербург, которые традиционно олицетворяют собой Империю. Его влекла русская глубинка, „Русь-матушка”, познания о которой у чужеземцев, по его словам, были и продолжают оставаться весьма скудными⁵.

„Территорией исследования” для Вилька стал Русский Север. Именно здесь до XX века существовали демократические свободы, определившие своеобразие характера северного человека. Север в понимании писателя – это русский мир в его концентрированном выражении. Личные впечатления, приобретенные во время „кочевья” по Кольскому полуострову, Соловкам, Карелии, определили содержание документально-художественных книг Вилька *Волчий блокнот* (*Wilczy notes*, 1998), *Волок* (*Wołoka*, 2005), *Дом над Онего* (*Dom nad Oniego*, 2006), *Тропами северного оленя* (*Tropami rena*, 2008). Цель предпринятых им северных „хождений” Вильк разъясняет в каждой из своих книг, имплицитно посредством эпиграфов, взятых, в частности, из сочинений Жозефа де Местра:

Кто изучает Россию по книгам, тот вообще ее не понимает, в ней скрываются особенности, которые я поехал бы изучать в провинцию... если бы только знал язык. (с. 13)

Этот край – совершенно иной мир, и судить о нем невозможно, не пожив там какое-то время. (с. 55)

Будучи чужеземцем, я бесстрастно изучаю историю этой страны и с дистанции озираю современные события. (с. 92)

⁴ М. Вильк, *Волок*, пер. с польск. И. Адельгейм, Санкт-Петербург 2008, с. 48. Далее страницы указанного издания приводятся в тексте статьи в круглых скобках.

⁵ M. Wilk, *Wilczy notes*, Warszawa 2007, s. 16.

И живет надежда, что мое писание может не только позабавить, но и склонить к размышлению. (с. 69)

Заканчиваю Ваше Высочество, на том, с чего начинал: Россия – это великое зрелище, на которое я всегда буду смотреть в равной мере с восхищением и страхом. (с. 124) и др.

Отсылки к французскому публицисту и мыслителю, которые в обилии представлены в *Волчьем блокноте* – первой книге северной прозы, позволяют предположить, что сочинения де Местра помогли Вильку сформировать творческую „стратегию” освоения России. Соответственно, не могли не учитываться им и основные идеи русофила де Местра, искренне восхищавшегося Россией и в то же время считавшего недопустимой отмену крепостного права, которая, как ему казалось, непременно повлекла бы за собой революцию – „пожар”, способный испепелить всю страну. В правильности или ошибочности этих идей Вильку предстояло убедиться в ходе странствий.

Отметим попутно, что небезынтесной оказалась для Вилька и позиция маркиза-руссофоба А. де Кюстина, имя которого не раз упоминается на страницах „северной одиссеи”. Особенно любопытен, на наш взгляд, фрагмент *Северного дневника* Вилька (*Волок*), в котором рассказывается о том, как именно начиналось его многолетнее русское странствие. Здесь не только проявлен ряд ведущих мотивов северной прозы, но и описано психологическое состояние путешественника, решившегося переступить черту, отделяющую его от „иного мира”, более того – возложившего на себя, подобно дантовскому Вергилию, миссию проводника по этому „инопространству”.

В Россию я прибыл под кайфом. Кто-то из друзей, провожавших меня в Гданьске, [...] сунул мне на прощание косяк, словно приговоренному последнюю трубку. О косяке я вспомнил перед самой границей. Я ехал поездом Прага–Москва, в русском вагоне. Кроме меня, в купе одни русские. Запах травки не так уж отличался от дыма их „Беломора”. Потом поменяли колеса, то есть переставляли нас с узкой европейской колеи на свою, широкую. (с. 177)

И далее – впечатления, которые, по стечению обстоятельств, легко укладываются в рамки стереотипных представлений о России. Возникает традиционный символический образ медведя, картина снежной Москвы, чужого, но неожиданно гостеприимного дома с набожной хозяйкой, водка

(„водка нас сблизилa”), иконы. Завершает данный „листок” дневника неожиданный для массового читателя и явно не вполне понятный для него вывод: „Де Кюстин оказался прав” (с. 178).

Надо отдать должное Вильку, пытаясь выйти из круга привычных стереотипов и создать собственный, оригинальный образ русского мира, он прокладывает северные „тропы” и запечатлевает увиденное и пережитое в дневниках и записках.

Как осваивает Вильк Север? Прежде всего – через слово, через русский язык, в котором, по Милошу, „есть уже все, что можно узнать о России”. Языковая „тропа” Вилька – не единственная в его книгах. Вильк путешествует и в пространстве, и во времени. Столь же привлекательным, как языковая „тропа”, оказывается для автора „северной одиссеи” „путь в историю”, изучение и расшифровка ее „следов”:

[...] на поверхности что видно? Останки тоталитарных иллюзий XX века: клубки колючей проволоки, прогнившие вышки, стены барака, то и дело человеческие кости. Вглядевшись поглубже, обнаружишь осколки старых и новых верований [...], еще глубже [...] следы колонизаторов, цивилизаторов и миссионеров всех мастей: волокна тракты, поросшие травой... (с. 47)

Примечательно, что в оценках русского тоталитаризма автор „северной прозы” откровенно непоследователен. Представленное в цитируемом фрагменте оценочное суждение „останки тоталитарных иллюзий” кажется случайным на фоне многочисленных рассуждений Вилька о том, какую пользу принесли бы современной России крепкая „сталинская” рука и подневольный лагерный труд.

Он соотносит Север допетровской эпохи, запечатленный в книгах и летописях, и Север нынешний, оценочно противопоставляет их. В давние времена жили здесь „смелые и предприимчивые люди, привыкшие к свободе”, „верившие по-старому, творившие чудеса деревянной архитектуры, сложившие сотни былин”, „герои суровых боев с польскими панями и мужественные приверженцы старой веры, участники мужицких бунтов и раскольничьих гарей” (с. 33, 124). Сегодня, „к сожалению, ни ярмарки, ни веры”.

[Одни] верят в священные деревья, к ветвям которых привязывают красные лоскутки, другие почитают „православных богов” и их святых, коих здесь множество, третьи же бьют поклоны всем остальным – неважно, Сталину, Брежневу или Путину, была бы водка к празднику... Ну что ж, умом Россию не понять. (с. 196)

Что же до самосожжений, в позапрошлом году один мужик по пьянке вместе с халупой сгорел. Только обугленные валенки остались. (с. 124)

Обратим внимание на то, как проявляется в текстах Вилька оппозиция „свой – чужой”, являющаяся одним из наиболее существенных жанровых признаков путевой прозы. Это тем более важно, что данная оппозиция позволяет наглядно представить ценностную „систему координат” прозаика, который именуется себя „русским писателем, пишущим по-польски”⁶. Кроме того, представляется, что автор „северной” путевой прозы – вольно или невольно – либо укрепляет стереотипные представления об описываемой стране, либо их разрушает. Изображая современную Россию, он стремится быть максимально объективным:

Не отрицаю, в России бывает черно. „По-черному” можно запить и „почерному” истопить баню, на улице может встретиться „черный человек”, может выпасть „черный понедельник”. Но черный цвет в России не доминирующий. Разве что взирать на страну через темные очки от Армани. (с. 176)

Однако для Вилька точкой преткновения оказываются два из многочисленных „черных” мифов о России: миф о русском пьянстве и миф о любви русского народа к рабству.

Примечательно, что идейно значимые акценты, присутствующие в книгах Вилька о России, не вызывают нареканий со стороны отечественных критиков. Показательно в этом отношении мнение А. Базилевского, который расценивает эссеистический цикл писателя как „крупный успех польской литературы рубежа тысячелетий в осмыслении русской темы”:

[...] взгляд Вилька на нашу страну можно уподобить умному взгляду вольного „степного волка”. Этот поляк, осевший на русском севере, [...] практически полностью освободился от удручающе стандартной „ясновельможной” польской оптики. Как точно заметил Вильк о своих пишущих соотечественниках: „На Россию смотрят то издалека, то свысока...”. Репортажные книги самого Вилька – редкое и отрадное исключение: „чужое” пространство становится у него своим, он искренен и не патетичен...⁷.

⁶ M. Wilk, *Dom nad Oniego*, Warszawa 2006, с. 22.

⁷ А.Б. Базилевский, *Версии образа России в современной польской журналистике*, „Новые российские гуманитарные исследования” 2008, № 3, [online] Архив. Литературоведение, <www.nrgumis.ru/articles/archives/full_art.php?aid=86&bin_rubric_pl_articles=277>, опублик. 9.12.2008.

На наш взгляд, тексты самого Вилька заставляют усомниться в правомерности такого рода оценок. Взгляд на проблемы России извне, его идеологическая заданность и, следовательно, суженность кругозора, несмотря на оседлость Вилька на русском севере, вполне даже ощутимы, и особенно в тех местах текста, где он явно эмпатизирует читателю-европейцу, рассчитывая на его понимание и поддержку. Соотнося, например, „свой” – европейский – мир с миром российским, Вильк приходит к „парадоксальным”, с его точки зрения, выводам:

Да уж, загадочна русская душа русского человека – любая аналогия псу под хвост. Взять хотя бы сравнения советских лагерей с немецкими. Представь себе, дорогой читатель (!), папиросы марки „Освенцим” или „Треблинка”. (с. 86)

А на Соловецких островах все еще празднуют Октябрьскую революцию. Сегодня „выходной” день – день, свободный от работы, повод выпить. Вот еще один вопросительный знак... Можете себе представить, чтобы в сегодняшней Германии каждая годовщина прихода Гитлера к власти праздновалась как выходной день? И день этот именовался днем согласия и примирения? (с. 150)

Однако вряд ли „загадочная русская душа” имеет прямое отношение к подобным аналогиям. Допустимо ли так прямолинейно ставить вопросы, не беря в расчет того, что в войне с фашистской Германией победил Советский Союз, что Германия сумела дать однозначную оценку своему прошлому, в отличие от России, в которой вопрос о „десталинизации общественного сознания” все еще злободневен и находится лишь „в ближайших планах Совета при президенте по правам человека”⁸.

Между тем Вильку недосуг разбираться в подобных „парадоксах”: „я хочу вести сюжет от своего имени, свободно прыгать с темы на тему, от случая к случаю (с. 154). И он действительно торопится. Действительно „прыгает” от одного „курьеза” к другому, стараясь произвести впечатление на читателя-европейца. Чем? Например, не сопровождаемой необходимым комментарием броской цитатой из Шаламова: „Ни одна сука из «прогрессивного человечества» к моему архиву не должна подходить. Запрещаю писателю Солженицыну и всем, имеющим с ним одни мысли, знакомиться с моим архивом” (с. 58) или эффектным сообщением об особых свойствах климата на Соловках, либо провокационной „телесностью”, вдруг

⁸ М. Федотов, *Я надеюсь провести линию преемственности не только от Памфиловой, но и от Сергея Адамовича Ковалева...*, „Новая газета” 2010, № 114 (13.10.2010), с. 7.

заявляющей о себе даже на уровне пейзажных описаний: „Лето на Островах короткое и стремительное, как эякуляция”⁹; сочными типажам разбитных „девах”, пьяных „мужиков”, а то и изображением „упившегося попа”, который крестил „целое стадо захмелевших жителей” (с. 196), упоминанием о „стадах пьяных туристов”, заполонивших соловецкую улицу¹⁰.

„Легендарное русское пьянство, – по словам Вилька, – приобрело апокалипсические размеры”¹¹. Мотив пьянства в его книгах бесконечно повторяется, варьируется; апогей достигается в эпизоде, описывающем деревенскую „оргию в стиле *a la russe*” (с. 237). Снобистское *a la russe*, впрочем, не мешает автору записок быть непосредственным участником как этой „оргии”, так и ряда других „пьяных” историй.

По словам Вилька, он хотел всмотреться в лицо страны, которое в XX в. радикально изменили „не войны, не революции, ни даже строительство социализма, а уничтожение деревни”; взглянуть в лицо тем, кто уцелел на месте гибели, „посмотреть в их пьяные, обезумевшие глаза”¹². Надо думать, последовательной реализацией данной установки и объясняется то обстоятельство, что пространство его прозы заполнено по большей части фигурами откровенно гротескными. При этом специфически гротескные очертания приобретают в книгах Вилька и персонажи, не вписывающиеся в обозначенный выше контекст. Так, явное раздражение вызывает у автора обрусевший поляк Франек. Бывший аковец, отсидевший десять лет в советских лагерях, он „женился на русской воровке, построил дом за оградой зоны и живет в ее тени, прямо как у Господа за пазухой. [...] Герлинг и Франек... – подумал я, глядя на него (с. 232–233).

Очевидно, это сравнение призвано подчеркнуть никчемность Франека. Трагедия человека, без вины виноватого, не по своей воле утратившего отчизну, а спустя десятилетия – и родной язык, остается „за скобками”. Оппозиция „свой – чужой” обретает у Вилька свойства примитивной схемы, за пределы которой он не может (или не хочет) выйти, а значит и не может подняться на бытийный уровень осмысления мира и человека в нем. И в этом смысле его книги вряд ли могут претендовать на статус „большой” литературы. Вряд ли они могут определять и лицо литературы польской.

⁹ M. Wilk, *Wilczy notes...*, с. 55.

¹⁰ *Ibidem*, с. 29.

¹¹ *Ibidem*, с. 18.

¹² M. Wilk, *Dom nad Oniego*, с. 21.

По крайней мере обескураживает российского читателя ряд умозаключений Вилька, к которым он приходит, путешествуя по Беломорканалу с намерением „прочитать край, лежащий вдоль водной тропы, будто книгу” (с. 63). Вполне логично, что этот маршрут, сопряженный с темой сталинских лагерей, должен был появиться в книгах польского писателя, поскольку и он определяет облик Русского Севера в XX веке. Интересно, что Е. Зиновьева, аннотируя русское издание *Волока*, пишет по этому поводу следующее:

Изучая историю сталинских лагерей, Вильк приходит к парадоксальным выводам. Его источники не только свидетельства, оставленные в первую очередь интеллигенцией. Он анализирует статистику, посещает территорию бывших лагерей, беседует с местными жителями, „простыми” обитателями бывших лагерных пространств, бывшими заключенными, охранниками. Мнение его не раз расходится с мнением А. Солженицына и даже чтимого им Шаламова. Конечная цель М. Вилька – различить, где растет дерево, а где „клюква”¹³.

Заметим: автор заметки предпочла умолчать о том, в чем именно состоит „парадоксальность выводов” Вилька, в чем суть его расхождений со „чтимым им Шаламовым” и с Солженицыным.

Действительно, Вильк изучает статистику и книгу *Беломорканал*, созданную советскими литераторами. Сравнивая, „что писали о Канале Горький или Пришвин” и „что пишет о нем Солженицын”, он нарочито удивляется „здесь ведь у каждого своя вера. [...] И кто мне докажет, где «развесистая» клюква, а где самая обыкновенная ложь?” (с. 70).

Между тем, эрудит, знаток русской истории и литературы (по крайней мере, Вильк настаивает на том, что он таковым является) не может не знать той истины, что Горький (как и его собратья по перу) „был вынужден или молчать, или представлять факты «в нужном свете», своим авторитетным словом освящая целое направление в советской литературе, называемое «литературой факта», а на поверку являющееся не чем иным, как псевдодокументалистикой. [...] Так стало возможным появление книги «документальных» очерков «Беломорканал»”¹⁴.

¹³ Е. Зиновьева, *Мариуш Вильк. Волок*, пер. с польск. И. Адельгейм, [online] *Дом Зингера. Журнальный зал*, „Нева” 2009, № 6. Архив <www.magazines.russ.ru/Нева/2009/6/zi13.html>.

¹⁴ Е.Г. Местергази, *Литература нон-фикшн / non-fiction: экспериментальная энциклопедия. Русская версия*, Москва 2007, с. 63.

Однако и „правда” Шаламова, чья „проза, пережитая как документ”, является, по словам автора „северной прозы”, для него ориентиром в собственном творчестве, вызывает сомнение у „русского писателя” Вилька: не „клюква” ли? (с. 220–222). Писатель действительно беседует с „обитателями лагерных пространств”: с бывшим начальником Надвоицкого порта, с ветераном войны и бывшим вохровцем Рыкусовым и др. В их рассказах звучит ностальгия по „сильной руке”: „Эх, Сталина бы!” (с. 96). Он явно симпатизирует просталинистским высказываниям своих собеседников. Предпринимает Вильк и анализ лагерной системы, завершая его вполне оптимистичными выводами:

Задачи немецких лагерей – уничтожение узников, задачи же советских лагерей были самыми разными: строительство канала или железной дороги, добыча золота, свинца, урана. А кроме того, лагерь лагерю рознь, и валить их все в одну кучу – абсурд: на Соловках были две театральные труппы, камерный оркестр, музей, издавались журналы и книги. Николай Виноградов написал здесь фундаментальный труд о каменных лабиринтах, Павел Флоренский организовал научные экспедиции на близлежащие острова и вел лабораторные исследования беломорских водорослей, а Дмитрий Лихачев, будущий академик, анализировал блатной жаргон; на Беломорканале тоже работал театр и был симфонический оркестр (где играла первая скрипка Венской филармонии), а лагерная газета „Перековка” имела 3 750 корреспондентов. Приравнивание советских лагерей к немецким затемняет русский генезис первых, подменяя его универсальным (и в определенном смысле абстрактным) понятием „тоталитаризм”. (с. 58–59)

И далее:

Это не преуменьшает – естественно – кошмара советских лагерей, не оправдывает их существования. Просто **смерть рабов была побочным эффектом** [выделено нами. – Т.Л.], следствием необычных условий труда и обычной советской безалаберщины. (с. 60)

Не будем комментировать вывод: он достаточно красноречив сам по себе. Напомним только, что о „чудесах культуры в нескольких километрах от печей” в свое время писал соотечественник Вилька Т. Боровский в рассказе *У нас в Аушвице*. И уже одна эта оговорка – „в нескольких километрах от печей” – несла в себе оценочный смысл, адекватный „трагическому фарсу” (В. Шаламов) лагерного быта. Ср. также реплику Вилька о папиросах марки „Освенцим” или „Треблинка”, процитированную нами выше.

Квинтэссенцией идей, которые свидетельствуют об анахроничности мышления писателя-путешественника, становится, на наш взгляд, его пространственный диалог с единомышленником – петрозаводским художником Борисом Акбулатовым (*Дом над Онего*). Приведем несколько небольших фрагментов, имеющих характер тезисов, из высказываний Вилька о „русском мужике“:

Я считаю, что рабам, то есть людям с ментальностью невольника, предначертан рабский труд. [...] Я приехал в Россию пятнадцать лет тому назад сторонником демократии и всех гражданских свобод, а уезжаю как трибун рабства и лагерей труда¹⁵.

Случайны ли такого рода суждения? Надо думать, нет. Во-первых, они лейтмотивны: повторяются в *Волоке*, возникают в *Доме над Онего*. Во-вторых, Вильк не считает зазорным признаваться в следующем:

Недавно он [начальник Канала Михаил Яковлевич Амигуд – Т.Л.] слышал мое интервью питерскому радио, и ему очень понравился парафраз де Кюстина, что я приехал в Россию противником рабского труда, но, прожив тут восемь лет, порастерял уверенность, что либеральный путь лучше (с. 121);

России нужна просвещенная диктатура¹⁶.

Представляется, что здесь уместно было бы вспомнить о „русской тропе“, проложенной в конце 1950-х тогда еще молодым колумбийским журналистом Г.Г. Маркесом. Не двадцать лет, а двадцать дней провел Маркес в стране, которая бесконечно его удивляла: необъятной территорией, „советской готикой“ в архитектуре Москвы, „сумасшедшим“, ни в чем не знавшим меры народом. Но более всего интересовало Маркеса то, как повлияли на сознание людей опыт, полученный при тоталитарном режиме, и созданные этим режимом мифы. Об этом, в частности, он размышлял в репортаже *22 400 000 квадратных километров без единой рекламы кока-колы*¹⁷, вошедшем позже в серию публицистических статей *Двадцать дней за „железным занавесом“*. Так создавался пред-текст

¹⁵ М. Wilk, *Dom nad Oniego*, с. 169.

¹⁶ М. Леонтьева, М. Вильк, *Россию надо изучать через монастырь (интервью)*, [online] *Известия.Ру*, 31.01.03 <<http://www.izvestia.ru/russia/article29519/index.html>>.

¹⁷ Г.Г. Маркес, *22400000 квадратных километров без единой рекламы кока-колы*, „Латинская Америка“ 1988, № 3–4.

знаменитого романа Маркеса *Осень патриарха*, который направлен против „замораживающего мышление мифа” (Г. Маркес).

Мариуш Вильк Россию „пережил”, заглянул в „ее глаза”. Сострадает ли он ей? Проникся ли ее бедами? Или фраза „русский писатель, пишущий по-польски” осталась всего лишь еще одним эффектным штрихом в самохарактеристике автора „северных записок”? Вопросы риторические.

Streszczenie

Mit i realność w północnej prozie Mariusza Wilka

Mariusz Wilk, autor dokumentalno-artystycznej prozy (*Wilczy notes*, 1998; *Wołoka*, 2005; *Dom nad Oniego*, 2006), stara się obiektywnie opowiedzieć o współczesnej północnej Rosji. Jednakże zadanie to nie zawsze realizowane jest pomyślnie. W jego książkach wyraźnie ujawniają się stereotypy w postrzeganiu złożoności historycznej tego kraju, a w szczególności mit o umiłowaniu przez rosyjski naród niewolnictwa, o rosyjskim pijaństwie. W artykule podjęto próbę przyjrzenia się, jak polski pisarz interpretuje „czarne” mity Rosji, jak rozkłada ideowo znaczące akcenty.

Summary

Myth and reality in M. Wilk's northern prose

Mariusz Wilk, the author of documentary fiction on the Russian North (*The Journals of a White Sea Wolf*, 1998; *Portage*, 2005; *A House by the Oniego*, 2006), undertakes the task to narrate the story of the present-day Russia in an unbiased, non-stereotyped manner. This mission, however, is not always successfully accomplished. The author's books reflect historically pre-existed stereotypes in the perception of Russia; such as the myth of the Russian people's yearning for submission and the myth of Russian hard drinking. The article attempts at investigating the way in which the "dark" Russian myths are interpreted by the Polish writer, as well as some of the most meaningful emphases that are observed in these interpretations.